

Каб. Придурна.
1991.-26
сентя.

3. «ЗАБЫТЬ ЭТО НЕВОЗМОЖНО...»

Неопубликованные главы из книги Татьяны Лещенко-Сухомлиной

ЛЮБОВЬ ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ (продолжение)

Была у Маши мечта — белевские туфельки на высоком каблучке. И я, по секрету от нее, заказал их сапожнику (поляк один у нас сидел, сапожник знаменитый). Сделал он эти туфельки. Берег я их ко дню рождения сына — мы с Машей уверены были, что сын родится...

До срока оставалось уже совсем немного. И вдруг, передала мне — слегка Маша, больна тяжело, умирает... Схватил я эти туфельки, хлеба белого, плитку шоколада, два апельсина раздобыл и ринулся шагать по путям узкоколейки... 32 километра... Решил, если навстречу мне паровоз — сверну с пути. А коли сзади догонит — никуда не уйду, пусть дальше везет, а не то — пусть давит меня.

Иду, служба лютая, темень. Снега высокие по обеим сторонам дороги. Шпалы поблескивают. Прошел с полпути, слышу — пыхтит. Паровоз почти толкнул меня сзади буферами. Машинист, было, в ругань. Но потом присмотрелся получше: «А, это ты? Верно, к крале свой? Садись! Слыхал я... Ничего. Доставлю. Прямо в лагерь введем».

...В санчасти на койке Маша горела, как в огне. Я нагнулся. Шепчу ей на ухо: «Маша, Машенька, это я. Туфельки я тебе принес!» И она вдруг глаза открыла, тихо так: «Туфли? Какие?» Вот верьте не верьте, чудо сотворилось! Еле шепчет: «Я хочу примерить». Пытаюсь я туфельки ей надеть, а ноги-то у нее распухшие, словно водой налитые...

Не знаю, сколько времени прошло. Стучит в окно солдат: «Паровоз за тобой вернулся. Катись отсюда, скоро подъем! Светает».

Обратно в город доехали вмиг. Я сразу к нашей докторше побежал, в лабораторию. Обещала Тамара Александровна помочь и вскоре вызволила ее к себе в лагерь, подняла на ноги, отходила...

И вот, спустя месяц, получаю я от Маши письмо... Прошло уже 20 лет с того дня, а письмо наизусть помню.

«Дорогой, навеки любимый муж мой! Сегодня у нас родился сын. Если б ты знал, как он красив! Этот маленький комочек уже умеет страдать и радоваться. Я беру его на руки и подолгу смотрю на него. И кажется мне, что прожила я не восемнадцать лет, а тысячу тысяч... Я участница Великого Чуда Жизни... Для меня чудо еще и то, что вот могу тебе так писать. Слова сейчас, будто сами переходят из сердца моего на бумагу...

Мне светло и счастливо. Я люблю тебя.
Маша».

Сколько ярких, интересных характеров и судеб прошло передо мной на Воркуте! Судьба одного человека запомнилась особо. О нем мне рассказала пожилая строгая учительница Мария Петровна, с которой я случайно тогда познакомилась.

КОЗМИНСКИЙ

«Я уже 10 лет в лагере отсидела по статье 58—10. А потом была оставлена на вольном поселении, на Колыме. Назначили меня главным кассиром огромного участка золотых приисков всех лагерей заключенных «Дальстроя». Я в ужас пришла — ведь до меня одного за другими то убьют, то посадят: кассира, главбуха, нач. прииска и т. д. Но что было делать. Начальство знало, что ни купить, ни подкупить меня ничем нельзя, — и назначили».

Каждый прииск обязан был ежедневно сдать определенную норму, да и сверх нормы, но не меньше. Золота было много. Я сама однажды на поверхности нашла слиток в 400 граммов. Сдала, конечно. Да все сдавали, себе не брали — к чему оно там?

Больше всех золота сдавала бригада Козминского. На воле у него фамилия другая была. До ссылки был он большим человеком в Сибири, орден имел за гражданку. Влюбился в девушку, а к ней стал приставать один тип и однажды чуть не изнасиловал. Козминский убил его. Получил 10 лет. Отправили его на Колыму, где он еще убил кого-то, «за несправедливость»... В целом было у него более 30 лет срока. В общем, «вечный». Дали ему бригаду басмачей. Да, настоящих басмачей, которые сидели в заключении, кто начиная с 24-го года, а кто позднее. Это были такие люди, что палой родной матери горло перепилил и бровью не поведут — «беспредельщина». Вот над ними — 40 человек — и поставили бригадиром Козминского.

Он жалел их... Если кто заболел, сам того выхаживал. Из заработанных бригадой денег себе ничего не брал. Покупал на эти деньги в вольном магазине муку, лапшу, мясо, фрукты. И каждый вечер в бараке, дневальный их, Сеян, дополнительно

но к питанию ставил на стол чан белой лапши с мясом. В шахте Козминский работал наравне со всеми. Ему везло...

И басмачи, которые раньше ни за что не работали, хоть убей, стали давать больше золота, чем все бригады нашего прииска вместе взятые. Да про запас у Козминского всегда было ведро золота припасено. О нем ходили легенды, и все его боялись. А начальник «Дальстроя» генерал-майор С. за руку с ним здоровался, только не при всех, конечно.

И вот позвали меня раз к вечеру в контору. Сидят там начальник прииска, оперуполномоченный, начальник лагеря и главбух. Надо много тысяч денег раздать на премии — большой мешок, да золота мешок отнести в другое подразделение, километров за шесть. Дорога дремучей тайгой.

Беру телефон, вызываю двух солдат-автоматчиков — без них ходить, ясно, нельзя, да и кладь тяжелая, мне, женщине, не поднять. Только я позвонила — в дверях стоит высокий человек с яркими глазами и говорит мне усмехаясь: «Не надо автоматчиков! Я сам вас провожу». Смотрю, начальник прииска побледнел и закуривает, а спичка у него в руке так ходуном и ходит. А опер — в угол прижался и что-то мне глазами страшное показывает. Я, точно молния в мозгу свернула, по телефону говорю: «Автоматчиков не надо». Все молчат. Даю ему тяжелый мешок с золотом, сама беру деньги.

Выходим. Ночь. Луна на небе, как привидение. Осенью дело было. А там километра два мимо забоя надо идти — колодцы глубиной метров 80. Столкнет — не пикнешь, и костей не соберут. Молчим. Он впереди петляет мимо дыр, я за ним. Вышли на дорожку. Он и говорит: «Как это вы со мной не побоялись? Ведь я Козминский». «Знаю», — говорю. Опять молчим. Он снова: «Вы знаете, что у меня 30 лет срока? Не страшно вам?» Я говорю: «Насчет денег и золота — у вас под рукой его гораздо больше бывает, чем тут в мешках. И не станете вы зря женщину убивать. Кроме того, лицо мне ваше чем-то понравилось. А главное, наказать я вас хочу за самоуверенность: я в конторе переночую, а вам ведь еще обратно идти. Там и подъем скоро, на работу. Ночь так и не поспишь». Он засмеялся. С тем и дошли...

Прошло месяца два. Однажды возвращаюсь в контору на ночлег. Зима. Мороз градусов 60. Плюнешь, на землю ледышка падает. Дышать трудно. Подхожу к двери, ко мне фигура бросается — все лицо заиндевело — я даже сразу не узнала. «Вы что, Козминский?» Он говорит: «Мария Петровна, не выходите сегодня никуда. Не хотел вам говорить, да придется. Вас сегодня вечером в карты проиграли. Но я сторожу. А утром уже все в порядке будет». Я говорю: «Вот что, Козминский, либо вы в сени зайдите, либо идите-ка к себе. У меня засовы крепкие на дверях, ничего со мной не случится, а вы ведь до утра замерзнете!» Он остался в сенях.

Утром, часов в 11 входит надзиратель: «Ну что с ним делать? Козминский человек сегодня убил!»

«А что ему будет?» — спрашиваю.

«Да что ему может быть? Коли уж убил — верно за дело». Я промолчала...

Время от времени Козминский приносил мне табак, он получал на себя. У нас тогда спичечная коробка самосада или махорки на вес золота стояла. Ведь война была. И вот однажды вызывает меня нач. прииска. «Что делать? Выручайте, как хотите! Нормы мы за две недели не добрали, придумайте что-нибудь!» Я говорю: «Поеду на такой же прииск, у них иногда сверх нормы выработка бывает. Возможно, они нам займут!» (Это километров за 12). Начальник говорит: «Хорошо, но предупредяю, с пустыми руками не возвращайтесь!»

Только вышла из конторы — Козминский, пошел рядом со мной: «Мария Петровна, я все знаю. Я вам золота дам». «Нет, Козминский. Я у начальника Сидорова возьму. И не смейте со мной говорить об этом! У вас не возьму, вы ведь у своей бригады, у себя отнимаете, честно заработанные».

Вошла к себе в контору. Собираюсь. Вдруг входит запыхавшийся Козминский и вываливает на стол из всех карманов, да все «кучки» (небольшие слитки) и убежал. Это золото не только норму покрыло, но и вперед за два месяца...

Прошло немного времени. И вот однажды слышим: обвал в шахте, двух человек накрыло. Начальника живым откопали, только ногу отнять пришлось. А Козминский задохнулся — сидел он на короточках у перекрытия, когда на них обрушилось... Плакала я о нем, как о са-

мом близком человеке. Начальник приказал водки и чистого спирта на его бригаду выдать, чтобы только не поубивались с горя. Но басмачи пить отказались.

Хоронили его на вольном кладбище и против всех правил и законов — никогда этого не бывало! — всю его бригаду вывели на похороны. Не забуду, что было с басмачами, когда его опустили в могилу! Они рыдали, выли — эти каменные люди, грызли мерзлую землю. Когда его закопали, они все падали ниц и долго не поднимались. Потом пошли, косоглазые, страшные, струйки слез мерзли на щеках...

Матери его с извещением о смерти послали очень круглую сумму и орден...

Иной раз тоскую я по нем... — закончила грустно Мария Петровна.

«А как было его настоящее имя?» — спросила я.

«Не знаю...»

О том, как я получила реабилитацию, пишу спустя долгое время. В ту пору я никак не могла прийти в себя от событий 56—57-го года и даже заболела под конец снова воспалением легких... Меня сбilo с ног неожиданное, небывалое счастье, — встреча с Василием Васильевичем Сухомлиным, как раз вскоре после моей реабилитации, выход в свет моего перевода «Женщины в белом», — и наша свадьба... Было от чего свалиться, но от счастья не умирают...

Еще в астраханском лагере инвалидов меня дважды — в конце 53-го и начале 54-го года — вызывали к оперуполномоченному нашего лагеря. Я была еще очень дохлая после своего крупного двустороннего воспаления легких. Следователь был молодой, явно жалел меня, он предложил мне писать прошение о реабилитации, вернее, о пересмотре дела — тогда слово «реабилитация» еще не было в ходу. Но я так жаждала освобождения — второго апреля 54-го года кончался мой срок! — что бодалась задержки какой бы то ни было, а главное не очень-то верила в благополучный исход, до такой степени я всех их боялась!

Я поехала к маме. У мамы, в Орджоникидзе, провела целые полтора года за переводом «Женщины в белом», в этом я отчасти чувствовала свою реабилитацию. Разве роман этот не рассказывал о Чуде Воскрешения?

В Москву вернулась в 56-м году, еще не имея права там жить. Остановилась у добрейшей, красивой Инны Крижевской. Весной 56-го года написала в Прокуратуру СССР, наконец, заявление о пересмотре дела. Взяв Алену, в мае пошла к Надежде Волынской, которая тогда ободгала меня. Я хотела, чтобы она написала, что ее показания ложь. Случайно на улице мы встретили Арсения Башкирова, и, узнав, куда и зачем я иду, он вызвался меня сопроводить, недавно вернувшийся из лагеря с Воркуты, благородный, смелый Арсик! Ведь я совершенно не знала, как она меня примет. Мы поступили, дверь нам открыл кто-то из квартирантов — это была коммунальная квартира. Алену я оставила на лестнице, боясь скандала, а мы с Арсиком прямо вошли в комнату к Надежде. Она сидела в кресле и побледнела, как бумага, при виде меня. Ее больной муж сидел в углу, я его впервые тогда увидела.

«Надежда, напиши сейчас же, что ты тогда на следствии сказала ложь! Ты знаешь, что ты лгала тогда. Сейчас же напиши, я отнесу это в Прокуратуру, и с меня снимут обвинение. Пиши!» Надежда молчала, и вдруг муж ее твердо и повелительно сказал: «Напиши сейчас же! Ты ведь знаешь, как это было». На столе перед креслом Надежды как раз лежала бумага. Она взяла ручку и написала: «В Главную военную Прокуратуру СССР

Н. А. Волынская, проживающая в Москве, Яковлевский пер., д. 9, кв. 29

ЗАЯВЛЕНИЕ

Довожу до вашего сведения, что показания, данные мной на гр-ку Лещенко-Пепер Т. И. в октябре — ноябре 1947 года, были даны под давлением со стороны следственных властей. (Фамилии следователя не помню). Политических разговоров с ней мы не вели и антисоветских от нее разговоров не слыхала.

Н. Волынская.
15 мая 1956 года».

Я схватила этот драгоценный листок, и мы молча ушли. Больше я никогда Надежду не видела.

Мы сразу пошли на почту. Я купила конверт и мы все трое отнесли заявление в Прокуратуру... А потом я ждала, так ждала!

Тот, кто получил реабилитацию, поймет меня, а другим все равно не понять, что мы пережили...

Публикацию подготовила
Наталья ГОРОВЕЦ.